

ВАСИЛИЙ АВЕНАРИУС

СЫН

АТАМАНА

За царевича

Василий Авенариус

Сын атамана

«Public Domain»

1901

Авенариус В. П.

Сын атамана / В. П. Авенариус — «Public Domain», 1901 — (За царевича)

«В лето от Рождества Христова 1604-е, в знойный июньский полдень, украинскою степью к днепровским порогам пробирались два всадника. Степные травы были так высоки и пышны, что всадники то вовсе в них исчезали, то выплывали опять по пояс. Безбрежная девственная степь кругом была совсем безлюдна, но там и сям паслись стада ланей, сайг, оленей, которые, при приближении непрошенных гостей, пугливо разбегались; в густой траве, в солнечном воздухе копошились и кружились, жужжали и стрекотали миллиарды всяких насекомых; в невидимой вышине заливался жаворонок; порою проносилась стая лебедей, сверкая белыми крыльями на яркой лазури неба...»

Содержание

Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	12
Глава четвертая	15
Глава пятая	18
Глава шестая	22
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Василий Авенариус

Сын атамана

(Историческая повесть из быта запорожцев)

Глава первая

Конь о четырех ногах, да спотыкается

В лето от Рождества Христова 1604-е, в знойный июньский полдень, украинскою степью к днепровским порогам пробирались два всадника. Степные травы были так высоки и пышны, что всадники то вовсе в них исчезали, то выплывали опять по пояс. Безбрежная девственная степь кругом была совсем безлюдна, но там и сям паслись стада ланей, сайг, оленей, которые, при приближении непрошенных гостей, пугливо разбегались; в густой траве, в солнечном воздухе копошились и кружились, жужжали и стрекотали миллиарды всяких насекомых; в невидимой вышине заливался жаворонок; порою проносилась стая лебедей, сверкая белыми крыльями на яркой лазури неба.

– А ведь правда твоя, Данило: хороша ваша степь, дивно хороша! – говорил младший всадник, атлетического сложения юноша лет двадцати двух, вдыхая полною грудью теплый воздух, напоенный здоровым благоуханием диких степных растений. – Во все, вишь, концы света растянулася, без конца, без края, что море-океан! А кругом все же Божий мир и живет, и Бога славит.

Говорил юноша по-русски, хотя по наряду можно было принять его за поляка: под пыльным «капеняком» (дорожный плащ без рукавов) виднелся малинового сукна, расшитый золотом кунтуш; на русых кудрях была надета дорогая соболья шапка с соколиным пером и крупным изумрудным аграфом; за поясом красовались турецкий кинжал и две пистолы в богатой оправе; сбоку бряцала кривая турецкая шашка; за спиною было прицеплено немецкой работы ружье. В смертном бою, один на один, такой противник должен был быть страшен, но открытый взор молодого богатыря светился таким миролюбием, что нельзя было даже представить себе его поднимающим на ближнего руку. Великолепный вороной аргамак, казалось, гордился своим седоком и выступал легко и резво, точно не сделал уже в это утро перехода в полсотню верст.

Товарищ юноши, названный им Данилой, сизоносый, сивоусый толстяк, не имел с ним, по виду, ничего общего. Поджарый, казацкий конь слышно храпел под его тяжелой тушей, так и выпиравшей из некогда алого, а теперь буро-пегого «каптана». Откидные рукава каптана давно потеряли на «закаврашах» (отвороченных концах) свои петли и застежки и были завязаны узлом за спину; но от быстрого движения вперед они развевались за спиною всадника на подобие крыльев, а его полинялые, когда-то синие шаровары раздувались парусом, делая его еще толще. Насаженная на самый затылок остроконечная шапка с «китицей» (кисточкой) и потертым смушковым околышком открывала большой бритый череп с аршинным «оселедцем», закрученным лихо на левое ухо. Это типическая особенность, в совокупности с задорно-беззаботным выражением лица, с молодецкой посадкой и воинской «зброей»: двумя пистолями, «панночкой-саблей-сестрицей», «рушницей» – мушкетом и казацкой плетью – «малахаем», не оставляли сомнения, что то был истый запорожец.

Данило слушал своего юного товарища с самодовольной усмешкой, так ловко сбивая при этом своим малахаем пушистые головки степных цветов, точно то были головы проклятых нехристей-татар или турок. В это самое время с хищным криком взмыл в вышину ястреб и с распростертыми крыльями повис в воздухе, высматривая себе внизу живую добычу.

– Постой, разбойник! – сказал Данило, сорвав с плеча мушкет и, насыпав на полку порошу, нацелился в хищника.



ястреб, раненный насмерть, полетел стремглав со своей вышины

Грянул выстрел, и ястреб, раненный насмерть, полетел стремглав со своей вышины. Но распластанные крылья дали ему боковое спиральное направление. Не успел товарищ Данилы отдернуть назад своего аргамака, как падающая птица со всего размаха задела коня крылом по морде, а затем с шумом хлопнулась ему под копыта. Горячий конь, наостривший только уши при звуке знакомого ему ружейного выстрела, не ожидал такого нападения с вышины и шарахнулся в сторону. Хозяин его усидел в седле. Но сам аргамак оступился одной ногой в глубокую яму, а когда сгоряча разом выдернул ее оттуда, то шибко захромал.

– Ах, ты, бисова птица! Чтоб те мухи съели! – от-ругнулся запорожец и соскочил наземь. – И угораздило ж какого-то дурня овражка вырыть себе тут норку! Дай-ка, княже, осмотреть мне ногу твоего Вихря.

Взяв в руки ногу Вихря, Данило стал бережно ее ощупывать. Конь нервно вздрагивал и дергал ногой.

– Ну, что, Данило? – спросил молодой князь. Тот снял шапку и всей пятерней почесал в корне чупрыны.

– Ишь, грех какой!

– Вывих, что ли?

– Вывих, да такой, что не токмо слезть тебе надо будет, а навсегда, почитай, распротиться с твоим добрым конем.

Юноша тотчас также спешил и к горю своему должен был убедиться в справедливости слов запорожца.

– Что же нам теперь делать с ним, Данило? – уцавшим голосом спросил он, глядя бедного коня по роскошной гриве.

– Да взять пистоль и пристрелить. Что уж больше?

– Ни за что! – вскричал молодой владелец аргамака, и на глазах у него навернулись слезы. – Может, он еще оправится...

– Не надейся, княже. Никакой знахарь такого вывиха не вправит. Коли у самого тебя рука на любимца своего не подымается, то я его за тебя прикончу...

– Нет, нет, Данило! Пускай живет себе на покое, доколь не помрет своею смертью.

– Эх, Михайло Андреевич! Очень уж ты сердоболен. На кого же мы его здесь в степи оставим.

– А не будет ли на пути у нас поселья какого? Сдать бы его на руки добрым людям...

– И впрямь ведь! Есть хоть и не мирское поселье, так монастырь – православный монастырь, Самарская пустынь, запорожский наш Иерусалим.

– Чего же лучше! И недалече?

– Да к ночи, почитай, шажком доплетемся. Там и заночуем. А теперь, княже, садись-ка на моего Буланку.

– Садись сам, Данило: я тебя вдвое моложе...

– Эвона! Ты – господин, я – слуга. Да я же всему причинен.

– Ну, так давай хоть чередоваться.

– Оце добре; там ужо увидим. А теперь-то, Михайло Андреич, садись, пожалуй, уважь меня.

Князю Михайле пришлось «уважить» пожилого слугу. Данило же вырвал перо из ястребиного крыла и прицепил себе его на шапку, после чего запалил «люльку-носогрейку» и взял за повод инвалида-аргамака.

– Гайда!

Глава вторая

Кое-что о запорожской святыне и о кошевом атамане Самойле Кошке

– Ты назвал, Данило, эту Самарскую пустынь «запорожским Иерусалимом», – заговорил снова князь Михайло. – Что же, там запорожцы грехи свои отмаливают?

– Подлинно, что так. Обитель эта для каждого запорожца первая святыня. Знаешь ли ты, Михайло Андреевич, как она основалась?

– Как?

– А вот, слушай.

Пуская из своей носогрейки дымные кольца, словоохотливый запорожец стал рассказывать историю Самарской обители, уснащая свой рассказ не всегда уместными прибаутками; но и сквозь них слышалось искреннее благоговение, которое внушала ему, как всем запорожцам, их «первая святыня».

Вкратце история эта сводилась к тому, что лет 30 назад, в ту самую пору, как воевода польский Стефан Баторий принял в Кракове венец королевский, на восточной окраине Запорожья, на безлюдном острове, опоясанном двумя Самарами, Старой и Новой, проявились два старца переходящие. Долго мыкались старцы по белу свету, пока не обрели здесь мирного пристанища, в густой дубовой «товще», в каменной пещерке, словно бы самим Промыслом Божиим приуготовленной для их иноческого бдения. Но напрасно уповали старцы провести тут безмятежно остаток дней земных в молитвах о спасении душ своих и чужих. Откуда ни возмись, нагрянула на остров ватага молодецкая и, не трогая святых старцев, соорудила себе в самой гущине дикого бора потайное подземное жилье. По дням и по неделям, бывало, добрых молодцев нет на острове ни слуху, ни духу. Зато, как воз-воротятся с «похода», так пойдет у них бесшабашная гульба, пьяный крик и брань богомерзкая на много дней. Домекнулись тут два отшельника по хмельным речам буйных молодцев, что то вольница разбойничья, «каменники», хоронившиеся дотоле в каменистых пещерах днепровских и выжитые оттуда вольницей казачьей – запорожцами. Не обижали они Божьих старцев, что говорить! Снабжали их еще вдовсталь и хлебушком, и рыбицей (коей, к слову молвить, в двух речках и окрестных озерах было великое преизобилие), пособляли им и воду носить, и грядки копать на огороде, за все такие услуги поручая им одно лишь – перед Господом Богом замаливать их, молодцев, неподобные мирские деяния. Не возмogli, однако ж, благочестивые иноки долее выносить соседства нечестивцев. А как те, под угрозой смерти, возбраняли им отлучаться с острова и общаться с простыми мирянами, то и сговорились старцы промеж себя, скрепя сердце, тайком покинуть свой угол обетованный. Выбрали они ночку осеннюю, безлунную, когда вольница ушла опять за дуваном; с опаской и бережью великою в лодчонке утлой переправились через речку. Да утечешь этак, как бы не так! Соглядатай молодецв перехватил бегунов и вернул назад. Каменники же пальцем их не тронули; установили только пущий надзор. Но дабы старцам способнее было воссылать к Престолу Всевышнего свои чистые мольбы за них, нечестивых, вырубили посреди лесной чащи обширную площадку и поставили им тут настоящую иноческую келью. Отмаливали грехи их богомольные иноки, да недолго: выследили вольницу разбойничью казаки-запорожцы, кого зарубили, пристрелили, кого в полон забрали, да середь большой дороги на «шибенице» (виселице) казнили, на семена не оставили. Для двух старцев же праведных соорудили деревянную церковь, во имя святителя Николы, завели при ней «шпиталь» для хилых и бездомных «лыцарей», а обороны ради обвели обитель еще фортецией-окопом. И пошел тут слух о безвестных дотоле двух отшельниках по всему казачеству, начали стекаться

к ним на богомолье и стар, и млад, напросились на житье в скит их и другие схимники, и стала Самарская пустынь новым Иерусалимом всего Запорожья.

– А святые старцы те и доселе еще здравствуют? – спросил князь Михайло умолкнувшего рассказчика.

– И, куда! – отвечал запорожец. – И меньшему из них в те поры было, почитай, за девяносто лет, а то и вся сотня. Правит ноне обителью запорожцев не запорожец, а все же из ратных людей, отец Серапион.

– И в житии тоже строг?

– И, Боже мой! Правит твердою ратною рукой, никому повадки не дает: ни монастырской братии, ниже мирским грешникам. Зато уж знаешь: коли сложит отец Серапион гнев на милость, отпустил тебе твое прегрешение, так, стало, и Господь тебя простил. Вот за что он люб нам, запорожцам, и за что мы его ни на кого другого не променяем! Перед смертным часом хоть ползком, а доползу до Самарской пустыни к отцу Серапиону, повинюсь во всех грехах своих, и вперед знаю: разгромит он меня пуще грома небесного, а там приютит, успокоит.

– А грехов за тобою, я чай, не мало? – улыбнулся Курбский.

– Не мало, милый княже, ох, не мало! – вздохнул запорожец. – Да и как им не быть, коли служил столько лет под Самойлой Кошкой!

– А это кошевой атаман ваш, что ли?

– Знамо, что кошевой. Ужель ж ты про Кошку ничего не слышал? Страшный вояка! В туречине лютовали мы с ним, прости, Господи, так, что вспоминать ажю жутко! Попадется тугой турчан, молдаван, сказать не хочет, где сховал червонцы, велит нам Кошка развязать ему язык: «А ну-ка, хлопцы, наденем ему на голову червону шапку!» И наденем: облупим голову ножами. «А ну-ка, хлопцы, обуйте его в червоны чоботы!» И обуем: огнем палящим пятки подпечем...

– Но это не человек, а зверь!

– Да, крутенок, что говорить. Зато сам впереди всех на врага шел, и шли мы за ним без оглядки и в огонь, и в воду.

– Однако ж ты сам, Данило, ушел-таки наконец от него? Невтерпеж, видно, стало?

– Уйти-то ушел, да не из-за того...

– Из-за чего же?

– По правде сказать, из-за голодухи. Наше войско запорожское ведь, как ведомо тебе, стоит на Днепре охраной кресту святому от погани бусурманской. Но зато знает нам цену и король польский; затеял он свару с королем свейским Карлом и зазвал нас на Карла в землю инфляндскую... Ливонией тоже прозывается.

– Ливонией, или Лифляндией, как же.

– Инфляндией, я ж и говорю. Ну, вот, стали мы, казаки настороже против Карловых куп, расставили бекеты (пикеты) по всем дорогам, несли нашу службу верой и правдой. Да казна, знать, у ляхов вконец опустела: писал Кошка и раз, и другой, и третий коронному гетману их Замойскому, чтобы выпросил у его королевской милости жалованья казакам, что амуницией мы совсем-де обносились, что и в продовольствии великую нужду терпим; а от гетмана ни ответа, ни привета. А тут подошла осень непогодная, бездорожье великое, пришла и зима с метелями, с морозами лютыми. От холода и голода завыли мы волками и пошли наутек.

– И ты сам с другими?

– Да чем я лучше других? Утек ведь не из корысти какой, а живота своего ради. От мокроты и стужи крепко так занедужился, заломило во всех суставах... так хошь бы к черту на рога!

– А что же тебе, Данило, не боязно попасться опять на глаза Кошке? Ведь он все еще атаманствует у вас в Сечи?

– Все, кажись; которой год уже выбирают. Да ты меня, княже, ему ведь не выдашь? Страшен черт, да милостив Бог. Да и то сказать, сам Кошка не святой человек, променял жинку на тютю и люльку.

– Так он женат? Но ведь запорожцы в Сечи, я слышал, все холостые?

– Холостые, и нет у них никакого добра, окромя коня да оружия ратного. А женишься, обабишься, – пошел вон по кругу, живи простым казаком! И отрекся Кошка от жены, от ребят, ушел назад в Сечь... Да и то сказать, жинка у него не из казачек, выкрал он ее из гарема у пса крымского, хана татарского; хошь и окрестил потом в веру христианскую, повел под венец по обряду православному, да все, вишь, иного роду-племени... И ушел от нее в Сечь, зажил себе опять холостяком-воежкой и вылез в кошевые. Молодчина! – как бы завидуя славному воежке, вздохнул запорожец и хрипло затынул:

«Мы жинок мусимо любыты,
Так як наших сестер, материв.
А опричь их не треба никого любыты,
И утикаты як от злых чортив.
Бо ты знаешь, мой милый сынку,
Лыцареви треба войоваты,
А тобі буде жаль жинку заставляты....»

На этом певец поперхнулся.

– Эх, горло пересохло! Не заморить ли нам княже, червячка?

И, не выждав ответа, он на ходу стал развязывать торока за седлом своего господина, где был прицеплен мешок с дорожными припасами.

Глава третья

Отец-вратарь и отец-настоятель

Ночное небо искрилось звездами, когда наши два путника добрались до того места реки Самары, где прежде, на памяти Данилы, имелся паром для переправы на монастырский остров. Парома уже не существовало; но, взамен его, был мост, нарочито построенный, как потом оказалось, для удобства многочисленных богомольцев. Ворота обители были на запоре, и кругом царила полная тишина. Но запорожец разбудил тишину мощным ударом молотка в висевшее на воротах било, и в ответ с монастырского двора поднялся громкий собачий вой. Вслед за тем вдали замелькал огонек. Шлепая лаптями по деревянным мосткам, показался, с фонарем в руке, старец-привратник и чуть не был сбит с ног двумя громадными псами-волкодавами, которые с тем же неистовым лаем бросились к запертым воротам.

– Чтоб вас пекло да морило! – гаркнул на них запорожец. – Ни учтивости, ни вежества с именитыми гостями. Хошь бы ты, отче, поунял горлодеров!

Отец вратарь загремел на собак связкой ключей и крикнул надтреснутым фальцетом:

– Цыц, вы, скорпионы, аспиды! Страху на вас нет!

– Что, отче Харлампий, – продолжал Данило, – не зарыли тебя еще на погосте?

– Ну, пошли, пошли! Совсем осатанели! Ты что это говоришь, сыне милый? Не гораздо вслушивался.

– Спрашиваю: поживу ль, поздорову ли?

– Жив доднесь и здоров, по Божьей милости, ох, ох, ох! А сам-то ты, миленький, кто будешь?

Приподняв в руке фонарь, отец Харлампий подслеповатыми глазами старался меж дубовых палиц закрытых ворот разглядеть ночного собеседника.

– Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй нас! Аль обознался? Словно бы Данило Дударь?

– Он самый с начинкой и потрохами.

– Ох, балясник! Откуда Бог принес? – прошамкал старец, далеко не обрадованный, видно, такому гостю. – Да ты, кажись, и не один?

– Нет, со мной великий боярин, посланец царевича московского. Так и доложи отцу Серапиону.

– Не боярин, а сын боярский, – поправил слугу своего Курбский. – Да не обеспокоить бы нам отца-настоятеля, верно започивал.

Благородная скромность и мягкий голос говорящего, а еще более, быть может, сама наружность его (насколько позволял разглядеть ее мерцающий свет фонаря) склонили старца в его пользу, и ответ его прозвучал значительно приветливее:

– В келье отца-настоятеля о сю пору свеча горит. Когда он отдыхает, – одному Господу ведомо!

– Так благословись, отче, доложить ему: дальние путники шибко, мол, приустали.

– А звать тебя, добродию, как прикажешь?

– Я – князь Курбский, Михайло Андреевич.

– Князь Курбский, Михайло Андреевич... – повторил про себя отец Харлампий, как бы стараясь глубже запечатлеть новое имя в своей слабеющей памяти. – Посланец царя московского?

– Царевича; но не к вам, в обитель. У вас бы нам только ночку переночевать...

– Князь Курбский... Князь Курбский... Благословлюсь, доложу. Обожди малехонько.

Гремя по-прежнему ключами, старец-вратарь зашлепал обратно к обители. Немного погодя снова блеснул фонарь, забрякали падающие затворы, и тяжелые ворота со скрипом растворились.

– Пожалуй, батюшка, пожалуй, милостивец: просит.

Освещая своим фонарем путь гостю, отец Харлампий заковылял вперед по деревянным мосткам, тянувшимся через монастырский двор до самого крыльца; отсюда же рядом крытых переходов и сеней они добрались до настоятельской кельи. Растянувшийся перед кельей на голом полу дневальный белец, безбородый малый, мигом вскочил на ноги и распахнул дверь. Наклонившись, чтобы не удариться лбом о низкую притолоку, молодой богатырь наш ступил через порог кельи. Посреди нее, очевидно, в ожидании гостя, стоял сам игумен. Но Курбский, сняв шапку, первым делом перекрестился уставно перед божницей с иконами в переднем углу, а затем уже повернулся к отцу Серапиону и попросил его пастырского благословения.

Ростом настоятель был, пожалуй, немного ниже самого Курбского; но недостающее восполнялось поистине львиной гривой, которая густыми серебристыми волнами спадала на плечи, а осанка игумена была так строга и величава, что Курбский, прикладываясь к благословляющей руке, показался сам себе недорослым отроком перед этим могучим иноком, как бы вытесанным из целого векового дуба. Толстый посох с серебряным набалдашником служил ему, казалось, не столько для опоры, сколько для усугубления его непоколебимой силы. Недаром же пал на него выбор запорожцев!

Только подняв голову, Курбский заметил, что веко одного глаза у настоятеля закрыто. Зато другой, здоровый глаз глядел тем зорче, и перед этим блестящим, насквозь пронизывающим взором юноша невольно должен был потупить свой собственный взор.

Не приглашая гостя даже сесть, суровый инок приступил без обиняков к допросу:

– Ты сказываешься князем Курбским?

Строгий тон, а более еще, быть может, недоверчивость, проглядывавшая в самой форме вопроса, задела юношу за живое; но он сдержал себя и ответил почтительно:

– Не сказываюсь только, святой отче, а и в правду Курбский, сын князя Андрея Михайловича.

– Злоумышленника и изменника царю своему и отчизне?

Курбский вспыхнул, и ответ его прозвучал уже самоуверенно и гордо:

– Он смолodu до седых волос был царю своему самым верным слугою в благих его делах; в лютых же неистовствах и казнях ему, точно, препятствовал и не пожелал снести собственную голову на плаху. Коли за то он злоумышленник и изменник, так, пожалуй, зови его так, а мне его память священна!

– Тише, сыне, тише! Памятуй, с кем речь ведешь, – властно оборвал его игумен, постукивая по полу своим посохом. – Родитель твой, как никак, а предался врагам царя Ивана Васильевича, полякам?

– Не предался им, отче, а искал у них, бездомный, приюта и защиты; детям же своим на смертном одре завещал все же не забывать святой Руси – родины предков.

– Ой ли? Сего я не ведал. Женат же он был на полячке?

– На полячке.

– По римскому обряду?

– По римскому, но сам он никогда не менял своей исконной веры, равно и меня, сына своего, дал окрестить в православии.

Мрачные черты отца Серапиона несколько просветлели.

– Почто же, скажи, одежда на тебе польская?

– А потому, что мы с царевичем моим жили до сих пор меж поляков.

– С каким это царевичем?

– С царевичем московским Димитрием.

– Гм... С тем, что проявился на Волыни у братьев Вишневецких?

– С тем самым.

– Про коего сказывали, что он убит в Угличе?

– Не убит, а спасся от наемных убийц Годунова! И король Сигизмунд в Кракове, и сейм польский признали его за подлинного сына Грозного царя, дозволили ему вербовать у себя рать противу узурпатора московского престола; я же уполномочен царевичем поднять на Годунова и Сечь Запорожскую, – и с Божьей помощью подниму ее!

Глаза юноши так и сверкали искренним одушевлением; благородные черты его, просияв внутренним огнем, стали еще привлекательнее. Сам суровый схимник не мог им не залюбоваться и с отеческой лаской возложил ему на плечо руку.

– Узнаю Курбского! – сказал он. – Таков был и покойный родитель твой – огонь палящий! Тоже, бывало, так и мечет искры из гневных очей. Но ведомо ли тебе, что на Запорожье было уже посольство от имени твоего царевича?

Такое известие сильно озадачило и смутило Курбского.

– Господи Боже мой! – пробормотал он. – Ужели тем временем, что я замешкался по своему делу в Лубнах... И с запорожцами без меня покончено?

– Покудова еще нет, не полошайся по-пустому, – успокоил его настоятель. – Староста истерский, пан Михайло Ратомский, поднял, вишь, Украину за твоего царевича и, в усердии своем, не спросясь даже, кажись, подослал от себя особых легатов в Запорожье; но те убрались, слышно, не солоно хлебавши, потому нет там ныне настоящего главы, кошевого атамана.

– А Самойло Кошка?

– Да числится-то он все еще яко бы кошевым, но умом помрачился, и идут у них в Сечи раздоры и непорядки...

– Вот беда какая!.. А ехать все же надо; время не терпит. Только как бы туда добраться?

И Курбский сказал о напасти, постигшей его доброго коня.

– Для столь верного слуги пристанище у нас найдется, – сказал отец Серапион, – а о замене его уже потолкуем. Но с тобой, доложили мне, есть и другой слуга – Данило Дударь. Где ты обрел сие сокровище?

– У Вишневецких еще ознакомились. Он же в Запорожье свой человек...

– Воистину, что так, и знают его там, как бражника и бездельника, вдосталь! Не нажить бы тебе с ним хлопот...

– Но сердцем он добр человек, и предан мне, не выдаст.

– Да смей он тебя выдать! Однако, в пути, ты, сыне, я чай, проголодался?

Отец Серапион ударил в ладоши. Появившемуся в дверях бельцу он приказал отвести гостя в панскую боковушку и сказать отцу келарю, чтобы подал туда снедей да питей.

– Погодя еще загляну к тебе, – прибавил хозяин-игумен, провожая молодого гостя до порога.

Глава четвертая

Кто был сам отец Серапион

Панская «боковуша», как показывало уже название, была предназначена для почетных гостей; тем не менее никакой роскошью она не отличалась, за исключением разве киота с многочисленными большими и малыми образами, увешанными пасхальными яичками и пучками душистых трав. Низкое окно с частыми слюдяными стеклами было заложено железной решеткой; деревянные отесанные стены, деревянный стол, широкие деревянные лавки, – все было крайне просто; на одной лавке был постлан пуховик со взбитой подушкой; тут же рядом на столыце (табуретке) была деревянная умывальная чашка и глиняный кувшин с водой, а на гвозде – две чистые, грубого полотна ширинки (полотенца).

Пока Курбский умывался от дорожной пыли, отец келарь с двумя служками накрыл на стол. Был тут и пирог с рыбой, и балык янтарный, и икорка свежепросольная, и грибки разные, и мед сотовый, и яблоки моченые; были глечики с квасом, медом и еще каким-то взваром, от которого кругом разносился заманчивый дух.

– Кушай во здравие, добродию! – пригласил келарь с поклоном. – Не взыщи: не изготвились принять.

– Чего уж больше? – отвечал Курбский. – Я и не упомяну, когда ужинал так обильно! Но мой дорожный товарищ и кони наши...

– Упокоили твоего холопа, добродию, и коням овса дадено. Не тревожь своей милости.

Утолив голод, Курбский только что налил себе кружку меду, как увидел в дверях отца Серапиона.

– Ну, что, сыне, насытился, чем Бог послал? – начал игумен, подходя и усаживаясь также около стола. – Мясной яствы, прости, и для мирян у нас не готовится. Нынче к тому же день постный: для монастырской братии и рыбы не положено. Но в пути сушим и в море плавающим святыми отцами особа пища разрешается. Кушай во здравие!

– Много благодарен, святой отче, – отвечал Курбский, – сыт уже по горло. Вот медком еще запить... Что за вкусное питье!

– Да, пойло доброе, меды у нас ставленные; тоже про одних лишь дорогих гостей: сами мы, иноки, квасом пробавляемся. А варенухи нашей еще не отведал?

– Нет.

– Так выкушай посошок, – продолжал хозяин-настоятель, наливая гостю полную чару ароматного взвара, – из вина, вишь, и меду с пряными кореньями сварена. Изрядный по сей части у нас отец чашник. Горе вот только, что сам уж не в меру падок до своих взваров; того гляди, отставить еще придется!.. – словно про себя, в сердцах пробормотал строгий начальник обители.

– Не погневись, святой отче, – заговорил тут Курбский, – коли я спрошу тебя по всей простоте: будет ли, как полагаешь, от запорожцев моему царевичу в ратном деле большая помощь?

– Помогает-то была бы, как не быть; их хлебом не корми, дай лишь повоевать! – подтвердил отец Серапион и, оглянувшись на притворенную дверь, понизил голос. – Но поразмыслил ли ты, сыне милый, на кого ты с ними ополчаешься? На родичей своих, москвичей!

– Но чтобы возвести на прародительский престол настоящего царя московского!

– Да ведь запорожцы-то, как они мне не любы, сказать келейно, народ зело дикий, буйный, конь одичалый без узды, саранча египетская, пламя всепожирающее, пущенное по сухой степи, все кругом себя губящее нещадно...

– Слышал и сам я, отче, будто жгут они, грабят, режут...

– А служителей Божьих – ксендзов польских и монахов живьем в пламя бросают! – в порыве негодования подхватил игумен. – Пусть те не нашей истинной веры, а все же, по своему уму-разуму, Господу Богу служат...

– Неужто, отче, они поступают так и со служителями церкви? Ведь короли польские сами давали войску запорожскому грамоты на защиту святого креста от полчищ мусульманских.

– А что же ты поделаешь с вольницей, у коей ни кола, ни двора, а почасту ни чести, ни совести! Кто ведь идет в Сечь Запорожскую? Всякая голь перелетная с Украины, с Польши, с Руси, характерники и гультия, коим терять нечего, беглецы от власти и закона.

– Но у рады запорожской, отче, есть же свои власти, свои законы?

– Как не быть! И послушники от оных наказываются столь же строго, может еще строже, чем в ином войске. Да закон-то для них писан лишь постольку, поскольку запорожец преступает права своего товариства запорожского. Товариство для запорожца – святыня, что храм Божий: он сам на него не посягнет, ни другим не даст пальцем его тронуть. Зато вне Сечи да на походе для запорожца не писано ни своего, ни иного какого закона, и являет он лютость неслыханную, сатанинскую. Так вот, касатик мой, чью помощь ты противу родной Москвы призываешь! Потекут за ними потоки крови. По долгу пастырскому призываю тебя пожалеть своих братьев, пожалеть и себя: на твоей совести будет кровь их...

На минутку Курбский задумчиво потупился; но вслед затем тряхнул головой и глянул в лицо настоятелю прямо и решительно.

– Ты, святой отче, выполнил долг свой, не препятствуй же и мне выполнить долг мой тому, кто меня к себе, как друга, приблизил, кому я крест целовал и ради кого готов теперь пить смертную чашу!

Суровый служитель Божий, сидевший опершись львиной головою на руку, метнул на говорящего одиноким глазом огневую молнию. Но прямодушная молодость и свежая мощь, веявшая от всего существа юного гостя, разгладили насупленные черты инок.

– Не токмо по долгу пастырскому, но и по доброй памяти о незабвенном родителе твоём (Царствие Небесное!) остерегал я тебя, сыне мой! – заговорил он значительно уже мягче. – Купно с ним, искуснейшим стратигом и воителем, татарву громили и под Тулой, и на Шиворони, и под Казанью, великим градом бусурманским. Что тут огненного бою, стрел и камней на нас пущено было со стен и башен! Когда же подбились под самые стены, варами начали лить на нас и бревнами метать. Много нас на приступ пошло, мало вспять убралось! Были ж у нас по велению цареву под стены подкопы подведены, бочки с порохом подложены. Кликнул клич князь Андрей Михайлович: «Гей, вы, пушкары мои! Кто на пороже мне зажжет свечу?» Призадумались пушкары, стоят – молчат. «Аль мне, князю, самому идти?» Вышел тут молодой пушкарь: осенясь крестом, зажег свечу...

Рассказчик умолк и как бы в забытии устремил свой единственный глаз неподвижно в пространство.

– И стены разметало, и город был взят? – досказал Курбский.

Настоятель молча головой кивнул.

– А пушкарь тот что же? И праху его, я чай, не доискалися?

Ответом был такой искрометный взгляд, что Курбский вдруг догадался:

– Это был ты сам, отче?

Отец Серапион не возражал, а, прикоснувшись пальцем к впадине своею вытекшего левого глаза, произнес совсем изменившимся, тихим голосом:

– Тем порохом, чем стены разметало, и свет Божий из очей моих выжгло. В те поры и правое око у меня помутилось. И дал я Господу моему обет такой: буде возвратит очам моим свет Свой, отдать себя на вечное Ему служение. И внял Господь, исцелил меня; стал видеть я правым оком зорче прежнего. Последним иноком принят был в эту самую обитель, а вот к концу дней привелось всюю обителью править! Камень, отверженный зиждущими, стал гла-

вою угла, ревнителем древнего благочестия: именем Господа разрешаю и наставляю, покаяние налагаю и благословляю. Так-то вот, сыне любезный! – заключил игумен свой рассказ. – Поведал я тебе о себе затем, дабы знал ты, отчего я умилился над тобой. Так что же, ты, вопреки мне, все же едешь-таки за помощью к запорожцам?

– Прости, отче, но как же мне не ехать, скажи, коли я от царевича своего к ним послан? Да он сам, поверь мне, не даст им слишком лютовать; середь регулярной королевской рати им и без того придется подтянуться...

– Может, ты и прав... По всему, что слышно, именующий себя царевичем Димитрием ведет себя как подлинный сын царский...

– Да он и есть сын царский! – воскликнул Курбский. – Я сколько вот времени был при нем, слышал, почитай, каждое его слово: он всегда тот же...

– Тебе, сыне мой, виднее, – глубоко вздохнул отец Серапион. – Как бы то ни было, тот, кто сидит ныне на престоле московском, как сказывают, покушался на жизнь царевича Димитрия, и спасся от его убийц царевич или нет, а Годунову на престоле уже не место. Чинить помеху тебе я не стану. Твори волю пославшего тебя, как велит тебе Бог и твоя собственная совесть!

– Спасибо, отче, великое спасибо! И в конце мне ты теперь не откажешь?

– Конь-то у нас для тебя вряд ли подходящий найдется... Но скажи-ка: бывал ли ты уже когда на Запорожье?

– Не довелось.

– И наших порогов днепровских, стало, еще не видел? Надо бы тебе их посмотреть! И был бы у меня для тебя добрый попутчик. Одолжил бы ты меня немало...

– Да я, отче, все рад для тебя сделать. Кто этот попутчик?

– Отрок один... Поутру уже вас ознакомлю. Закалялись мы с тобой; очи у тебя, соколик, вишь, сами собой слипаются! – со снисходительной отеческой усмешкой прибавил настоятель, вставая. – Ложись-ка сейчас, и да ниспошлет тебе Господь под нашей мирной кровлей мирных сновидений!

Глава пятая

Попутчик

Проснулся Курбский поздним утром от стука растворяемой двери. Перед ним стоял его стремянной, Данило Дударь. Юноша быстро приподнялся с ложа и оглянулся на решетчатое оконце: сквозь его слюдяные стекла высоко стоящее солнце рисовало на белом некрашеном полу толстые полосы решеток и мелкий свинцовый переплет.

– Да я никак проспал заутреню?

– Эвона! – рассмеялся в ответ запорожец. – Сейчас, того гляди, к обедне затрезвонят.

– Так как же ты, Данило, не разбудил меня?

– Отец-настоятель не приказывал: пускай-де выспится – долгий путь впереди.

– А что бедный Вихрь мой?

– Да что, ваша милость: ногу ему еще пуще вздуло. Показал я его здешнему лекарю – тот только головой помотал: «Быть ему, мол, весь век хромым». Ну да святые отцы его тут упокоят. А вот не разберу я, что у отца Серапиона на уме? Выходя от заутрени, поманил меня пальцем, стал пытаться: ездил ли я когда вниз днепровскими порогами? «Не токмо ездил, – говорю, – а несчетно раз своеручно душегубку сквозь Пекло проводил». – «Добре», – говорит, кивнул и оставил меня стоять. Порогами вниз, что ли пустить нас хочет?

– Верно, что так. И мне вчор про то намекал: о каком-то попутчике-отроке говорил.

– Овва! Третью неделю уже, слышь, врачуется во здешнем шпитале сынок Самойлы Кошки.

– Как! Кошевого атамана запорожского про которого ты мне рассказывал?

– Эге. К отцу в Сечь со стариком-дядькой собрался, да дорогой беда с ним приключилась: упал с коня да плечо себе повредил. Верхом-то ехать ему теперича, знать, и неспособно.

Когда Курбский, умывшись и одевшись, в сопровождении Данилы, вышел из своей кельи в полутемный крытый переход и повернул в сторону переднего крыльца, оттуда донесся вдруг такой хватающий за душу болезненный вопль, что молодой князь вздрогнул и невольно остановился.

– Что это такое? – спросил он.

– А кликуша, – ответил запорожец. – Отец Серапион до обедни, вишь, с богомольцами беседу ведет, всякому в утешение доброе слово скажет; ну, и бесов изгоняет.

Пронзительный вопль повторился.

– Иди один, Данило... Я покамест туда не пойду, – сказал Курбский и, взяв в противоположную сторону, рядом переходов выбрался на открытый воздух, как оказалось в монастырский огород.

Среди груш и яблонь тянулись гряды с разными овощами, пышными подсолнечниками и пунцовым маком; воздух кругом был напоен духом трав, гудел пчелиным жужжаньем. А вот под деревьями показался мальчик лет тринадцати с подвязанной правой рукой, судя по наряду, – из зажиточных казаков, и с ним старичок-служитель.

«Сынок Самойлы Кошки!» – сообразил Курбский и пошел им навстречу.

Теперь его заметили, и миловидное, почти женственное, смуглое лицо мальчика залило румянцем. Но, словно устыдясь своего смущения, он окинул Курбского гордым, чуть не враждебным взглядом.

Курбский улыбнулся и, пожелав обоим доброго утра, обратился к дядьке с вопросом скоро ли обедня.

– Да вот отцу-настоятелю только бы кликушу утихомирить, – отозвался старик, внимательно оглядывая также молодого князя с головы до ног. – Как накрыл епитрахилью, – тотчас

перестала биться. Я нарочно увел оттоль Гришука... то бишь, Григория Самойловича, потому кликушество, как злая зараза, особливо к слабосильным прилипчиво; а паныч мой не совсем еще оправился от болезни.

– Какая ж то болезнь, Яким! – счел нужным оправдаться в глазах Курбского Гришук, снова краснея, – плечо свихнул маленько...

– Не свихнул, паничку, а ключицу переломил! – с горячностью прервал его Яким и, очень довольный, казалось, найти нового слушателя для своей не раз уже, конечно, повторенной истории о постигшем его панича злключении, продолжал, – едем, это, мы лесочком, ничего не чая. Меня, старика, от зноя, знать, и распарило, укачало; сижу себе в седле, носом рыбу ловлю. Вдруг панич мой:

«Глянь-ка, Яким, что за чудо? Не клад ли какой?»

Гляжу: в прогалинке, середь травы да цветов, лежит словно бы большущее железное колесо, на солнце как жар горит. Крий, Мати Божа! То змий лютый, желтобрюхий, колесом свернулся, на солнышке греется; а он, младенец несмышленный, за золото червонное его принял!

«Назад, паничу! То желтобрюх!»

И, куда! Упирается конь у него, фыркает, а он его еще нагайкой. Конь на дыбы да копытом хват в середку колеса! Развернулся змей, зашипел, коню ноги обвил. Ну, конь, как ошалелый, в бок, и молодчик мой из седла. Первым делом я, знамо, к коню, чтобы от змея вызвать, голову чудищу одним махом отсек. Ан птенчик мой, глядь, в траве лежит недвижим, бездыханен...



Развернулся змей, зашипел, коню ноги обвил. Ну, конь, как ошалелый, в бок, и молодчик мой из седла

- Головой о корень древесный ударился... – застенчиво пояснил со своей стороны панич.
- И головушкой, и плечиком.

По алым губам мальчика пробежала плутоватая улыбка.

- Только голова покрепче плеча оказалась, – сказал он, – уцелела!

– Шути, шути! – укорил дядька. – И висок-то себе до крови раскроил, а плечо и совсем, поди, попортилось.

– Как спросят в Сечи, так могу хоть рассказать, что вместе с тобой в бою побывали! – не унимался Гришук, указывая на правую руку дядьки.

Что Яким побывал в бою, свидетельствовал глубокий шрам, пересекавший ему лоб и бровь; на изъяз же в правой руке его Курбский обратил внимание только теперь; из рукава старика торчал обрубок кисти руки без пальцев.

- Но как ты, любезный, саблей владеешь? – спросил Курбский. – Аль левой рукой?

–левой, – словно нехотя ответил дядька, пряча свою поврежденную руку, и перевел речь снова на своего питомца. – Благо, хошь не так далеко было до обители. Благодарение Богу да отцу лекарю, плечико у него теперь заживает, а все ж на коне до Сечи ехать поопасился: растрясет. Ехать же надоть бы, ни дня не измешкав.

– Родитель твой там, слышно, крепко занемог? – участливо отнесся Курбский к молоденькому сыну атамана. – С чего это с ним приключилось?

Веселое только что лицо Гришука разом опечалилось, и на длинных ресницах его блеснули слезы. Он хотел ответить; но углы рта у него задергало, и он закусил нижнюю губу, чтобы не расплакаться.

– Светик ты мой, соколик мой, ну, полно, полно! Не малыш ведь, слава Богу! – ласково забрюзжал на него дядька, а затем ответил за него на вопросы Курбского. – Да изволишь видеть... Который год уж батька его ушел от семейки своей в Сечь – не потому, чтобы... нет, жили они с жинкой ладно и совестно, – да старого казака все, знаешь, в Сечь тянет, что волка в лес. Ну, а на поход противу турчины, как потонул старшой Скалозуб, другого, окромя пана Самойлы, на место его не нашлось...

- И должен был он отречься от семьи родной, чтобы попасть во в старшие?

– Да как же ему было отказаться, коли его выбрали? – вступился тут за своего батьку Гришук. – Откажись он, так погубил бы с собой, может, все войско...

– Но сердца в груди не замолчишь! – подхватил старик дядька. – Пали до пана Самойлы слухи, что жинка у него скончалася, а была она у него добрая, смиренная, по хозяйству заботливая; и затужил он, затосковал так, что на поди! заговариваться начал. Как сведали мы о том в Белгороде, так и собрались вот с паничем в Сечь проведать родителя: из четверых птенцов единственный ведь остался! Увидав сынка, как знать, может, в себя опять придет, утешится.

– Дело доброе, святое дело, – сказал Курбский. – Я сам тоже в Сечь путь держу. Упредил меня вечор настоятель, что есть мне юный попутчик...

- Так, так! – с живостью поддакнул Яким. – Ведь ты, прости, князь Курбский?

– Курбский.

– Сказывал он нонече и нам про тебя. С тобой он нас охотно порогами пускает. Яви такую милость, чтобы птенчику моему, грешным делом, какого дурна не учинилось. Вот и к обедне заблаговестили, – прервал сам себя старик. – Отстоишь с нами тоже?

Глава шестая

За обедней и за трапезой

Деревянный, не особенно обширный храм, несмотря на будничные день, был наполнен прихожими богомольцами. Служил обедню сам игумен, отец Серапион. Если он своей замечательной личностью и в обыденной жизни производил уже на всякого сильное впечатление, то здесь, окруженный всею монастырской братией, среди церковного благолепия, перед высоким, раззолоченным иконостасом, при мерцании сотен восковых свечей и лампад, в клубящихся облаках голубого дыма кадильниц, он являлся центром общего благочестивого настроения, как бы исходившего от него и невидимыми волнами разливавшегося на всех присутствующих, в том числе и на Курбского. С давно не испытанным умилением слушал он и стройный хор певчих на клиросе, и чтение святого Евангелия голосистым протодьяконом; особенно же тронула его за душу проповедь самого настоятеля, сказавшего плавно и пышно напутственное слово «в пути сущим», разумея, очевидно, и его, Курбского, с его будущим малолетним попутчиком.

– Глянь-ка, Михайло Андреевич, направо, вон в угол, – расслышал он тут за спиной своей шепот Данилы, – вздулись ведь оба, что тесто на опаре!

Он повернул голову по указанному направлению и увидел двух коленопреклоненных: один был пожилой мужчина необычайной толщины, с испитым лицом, в монашеской рясе, другой – совсем еще юноша, но с такими же одутловатыми щеками и заплывшими глазами, в запорожской свитке. Первый неустанно и равномерно клал поклон за поклоном, тогда как второй, точно в столбняке, с тупой неподвижностью мрачно уставился в каменный пол перед собой.

– Монах-от – здешний чашник, – пояснил запорожец, – за непомерное «чревоугодие и вкушение пьянственного пития» епитимью отбывает, а молодчик – родным батькой своим из Сечи на отрезвление прислан.

Когда отошла обедня, и отец-настоятель вышел из алтаря, вся толпа богомольцев хлынула ему навстречу – принять благословение. Но он опять сделал молчаливый знак рукой и направился к двум покаянникам в правом притворе. Курбский вместе с народом двинулся туда же.

– Ну, что, сыне мой? – спросил отец Серапион чашника строго, но не возвышая голоса. – Скорбишь ли?

– Скорблю и стенаю... – был глухой ответ. – И вспомнить страшно, сколь был бесстыж и неводержан!

– А впредь остережешься?

– Остерегусь, святой отче!

– Клянешься в том?

– Клянусь Господом моим...

– Сам Сын Божий рече: «Радость бывает на небеси о едином грешнике кающемся, нежели о девяносто девяти праведных, не требующих покаяния». Редкого гостя ради слагаю с тебя ныне же вину твою. Иди и не греши.

Чашник со слезами благодарности припал к руке своего духовного начальника.

– А меня что же? – вызывающе прохрипел стоявший еще рядом на коленях юный сын Запорожья.

– Рано! – коротко отрезал игумен, окидывая его из своего единственного глаза палящим взглядом, и круто отвернулся.

– Чернецы окаянные! – злобно пробормотал тот ему вслед, не смея, однако, подняться с полу.

К счастью дерзновенного, отец Серапион его уже не слышал. Богомольцы, тесня друг перед другом, ловили на ходу благословляющую руку отца-настоятеля, целовали край его одежды. Направляясь к выходным дверям, он звучным басом затянул канон. Примкнувшие к нему монахи разом подхватили торжественную песнь и вереницей попарно потянулись за своим главою на церковную паперть, а оттуда, с тем же пением, мостками, переложенными через весь двор, к обительской трапезе.

Курбский, сторонясь толкотни, несколько поотстал. Тут около него очутился молоденький белец и попросил его от имени отца-настоятеля следовать за ним.

– И ты, добродию, пожалуй тоже, – проронил белец кому-то позади Курбского.

Оказалось, что слова эти относились к Гришуку Кошке, который, точно боясь уже потерять своего покровителя-попутчика, увязался за ним, как дитя за нянькой.

Боковой дверкой они следом за бельцом прошли в красный угол келарни. Около незанятого еще сидения настоятеля стояла кандия (медная чаша, заменяющая колокол в келарне) и возвышался аналой с Евангелием, а на стене над аналоем ярко горела золотыми окладами икон освещенная божница.

Вошедший тут главным входом с остальной братией отец Серапион, увидев своих двух молодых гостей, пригласил их молчаливым жестом занять почетные места по правую и по левую руку от себя и вполголоса ласково промолвил:

– Ознакомились?

После чего, оборотясь к инокам и сложив персты, погрузился в мысленную молитву. Примеру его последовали и старцы-монахи, и юнцы-послушники, и пришлые миряне, занявшие кругом места за расставленными вдоль келарни тремя рядами деревянных столов с переметными скамьями. Минуты две протекли так, среди общего богомыслия, среди мертвой тишины.

Но вот отец игумен осенился крестом и ударил в кандию. Как по мановению волшебного жезла, трапеза мгновенно ожила: все разместились по своим местам, служки бросились со всех ног в «стряпушую» за «яствой», а с аналая зазвучал нараспев протяжно-дробно и бесстрастно тенор очередного начетчика, читавшего из Четьи-Миней в назидание трапезующих житие Алексея, Человека Божия.

Никогда еще не случалось Курбскому столовать среди монастырской братии, и потому глаза его невольно разбегались по сторонам. Перед каждым столующим заранее было положено по здоровому ломтю хлеба и по деревянной ложке; через несколько человек были расставлены большие енды-купели с квасом и плавающим на поверхности ковшом, которым каждый желающий мог черпать себе прохладительный напиток.

Тут из стряпушей показались снова служки, нагруженные дымящимися мисками. Бесшумно, но расторопно разносили и расставляли они по столам миски. Келарь и только что прощенный чашник также неслышно шныряли взад и вперед между столами, наблюдая, чтобы никто не остался обойденным пищей и питием. А так как питье всех присутствующих, за исключением Курбского и Гришука, заключалось в одном квасе, и вмещавшие его объемистые сосуды не были еще опорожнены, то чашник, желая угодить смиростивившемуся над ним начальнику, то и дело вертелся около и поставил перед ним и его молодыми гостями целую дюжину больших и малых ендов и глечиков. Раз позволил он себе сам шепотом предложить Курбскому испробовать наливки своего изделия: по-ляниковой и вишневой; но Курбский, помня еще снотворное действие, крепкой монастырской варенухи, с благодарностью отказался.

– Так отведай хошь, сделай такую милость, игристого имбирного меда! – не отставал любезный «питий мастер» и налил, как Курбскому, так кстати и Гришуку по полной чаре.

Пришлось Курбскому отведать игристого напитка, который, в самом деле, оказался преотменным. Гришук только пригубил чару, а затем запивал еду одним малиновым квасом.

Не могли они, впрочем, пожаловаться и на невнимание келаря: монашествующей братии, в том числе и самому отцу-настоятелю, подавались, постного дня ради, одни простые расти-

тельные блюда, пришлым богомольцам – после рассольника – щука да кисель; перед молодым князем и сынком кошевого атамана сменялись на блестящих оловянных тарелках одна другою снеди хоть и не мясные, но рыбные, преотборные и прелакомые, как-то: кулебяка, уха стерляжья, лещ жареный, начиненный гречневой кашей и грибами, оладьи с сотовым медом; для заключения же трапезы отварные в меду грецкие орехи, яблоки и разное сухоядение: медовые пряники, винные ягоды, волошские и миндальные орехи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.